

*25 марта 2018 года в Кемерове при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня” погибли 60 человек.*

Сначала не понимаешь ничего, тыкаешься в новости — в сводки. Вот четверо мёртвых, трое детей и женщина. Потом нет, потом опровергли — мужчина, три женщины и ребенок. Пятеро, значит. И огонь не могут сбить. На фотках — чёрный угольный дым валит из редких узеньких окошек. Понимаешь потом, когда смотришь видеозапись, на которой подростка буквально выкидывают из такого окошка. И уже думаешь: “Нет, плохо...” Но не веришь до конца, что прямо вот совсем плохо. Думаешь: “Сколько их там, потерянных?” 35. Бродят вокруг здания с ужаснувшимися глазами. Выскочили, разбрелись, забились в какие-нибудь щели — испугались. Не понимают ничего. Найдутся. Точно должны найтись.

А потом думаешь: “Чего это я сижу? А моё-то всё где? Где моё? И уж не Там ли?..” И за телефон: “Мама, где ты? Где сестра?” Всё хорошо, все дома. Будто ощупываешь, осматриваешь, пересчитываешь сам себя. Здесь ли, на месте ли? Перебираешь близких, словно чётки, бубнишь в телефон разное. И тебе бубнят, и тебя оглядывают, не Там ли, уж не Там ли?..

Будто ты — это совсем не ты, а много разных “ты”, может, даже и не близких, а просто — знакомых. Кто тебя перебирает. Кто вопрошает о тебе — значит, это ты и есть. А ведь недавно жаловалась — одиноко мне, поговорить не с кем, пусто мне. Тьфу, дура, с хомяком поговори!

Плохое место, никогда не нравилось. Недалеко вокзал, пляются всякие, цыгане бродят, нищие. Держишь сумку покрепче, нащупываешь кошелек. Ничего вроде не происходит, но неприятно, тревожно.

И только перед сном — перед тем, как спать ложишься, — пожарные Там смогли попасть на четвёртый этаж. Мёртвые мужчина и ребёнок. А до этого пятерых нашли. Всего семеро, значит.

Думаешь: “Ну, ладно, спать надо, завтра дела... И вообще... Не сидеть же всю ночь”. И ложишься. Но уже пришибленная, уже понимаешь, что плохо. Не совсем плохо, но плохо.

Лежишь в темноте и разговариваешь. Не торгуешься, как раньше, мол, не знаю, есть Ты или нет, но мне хочется говорить с Тобой, хоть я в Тебя и не верю. А просто — без всяких предисловий — говоришь Ему: “Боженька, сделай так, чтоб они все нашлись, чтоб никто Там не умер больше”. Просыпаешься утром — а Там всё равно умерли, 27 человек. Господи, куда Ты смотрел... И обрываешь себя — не богохульствуй. Даже если Его и нет.

А у тебя ведь дела всякие, глупости, ерунда. Ты еще по инерции теребишь их, будто они что-то значат, мол, есть такое слово — “надо”. И вот ты собираешься — надо выйти в город. Замираешь перед дверью — не знаешь, что там. Может, как-нибудь тут отсидеться, спрятаться. Но надо, ждут тебя, и ты шагаешь через порог, задержав дыхание.

А в городе — снежок выпал. Тепло, снежно. Тихо, как в погребе. Слышно только, как дворник скребет асфальт. Вжик-вжик. Тишина. Никогда не было на земле так тихо. Люди во всём городе ходят на цыпочках.

Вдруг за спиной — разговаривают. Как пластик горит, как утеплитель, и сколько их теперь Там, и что не потушили до сих пор. Оглядываешь лица — серьёзные, внутрь себя смотрящие. Знают всё. Весь город знает, как Там страшно горит пластик.

Приезжаешь, куда ты ехала, а у людей одинаковые лица. Все черты сползли вниз, побледнели, глаза увеличились, и в зеркале у тебя такое же лицо. Люди садятся и разговаривают. О том, какое большое горе, как сложно тушить пластик и сколько их Там погибло, сколько пропало и что Там были знакомые знакомых, и что тех, кого нашли, сложно опознать, а значит, они горели...

И ты прислушиваешься, всматриваешься в себя, сопоставляешь. Потому что совсем другой мир вокруг. И вот ты живёшь и смотришь, как ты живёшь, как ты себя здесь чувствуешь. Голая нервная система. Обмениваешься сигналами с другими нервными системами, мол, какая большая беда, мол, переживаю вот, и тебе отвечают то же. Город — одна голая нервная ткань. Будто все мы стали нервными клетками города. Наверно, беременные так же прислушиваются к себе: “Что там, внутри?” Город, беременный бедой.

Вдруг думаешь: “А чего это я сижу? Надо ведь что-то сделать, совершенно необходимо пойти и что-нибудь сделать, помочь Там или ещё что. Вот моё всё, люди добрые, возьмите меня и владейте мной!” Хочешь притулить куда-нибудь бессмысленную себя, избавиться в действии. Тыкаешься в новости, в телефон. Но кровь не нужна уже. Сегодня в 8 утра чуть ли не полгорода пошли и сдали кровь для пострадавших. А ты прохлопала, не подумала! Не нужна твоя кровь, сиди и помалкивай. И волонтёры вроде не нужны — все уже на местах, все работают. Сбор денег для пострадавших ещё не начался. Ни крови твоей, ни помощи, ни денег даже — ничего твоего не нужно...

Приезжают Оттуда — мимо ехали. Там всё перекрыто, пожарные работают — заливают водой чёрную воронку, которая жрёт людей. И ты тяжелеешь,

тупеешь, оплываешь от бессмысленности себя. Уже и не знаешь, кто ты есть, где ты есть, и ела ли сегодня, и куда тебе деваться на этой земле. И думаешь: “Скорей бы уже всё закончилось, скорей бы уже вскарабкаться на эту гору горя, чтобы потом съехать вниз и жить, как раньше”. Как же у нас было — раньше?..

Вечером стало известно окончательно — 60 погибших, из них — 39 детей. Люди в соцсетях наливаются гневом, брызжут им во все стороны, заражают других. Они собираются завтра утром идти на Площадь, призывать к ответу, искать виноватых. И тебя бросает уже в другую тревогу — не размолали бы город, не раздавили бы его своей тяжестью. Как, оказывается, это легко — раздавить город. Будто он бумажный. Стоит красивая поделка на журнальном столике. Хлопнешь сверху ладонью — и нет ничего. Нет города, нет его нервной ткани, нет его беды.

“Уймитесь, — ты думаешь, — не надо, стойте. Спать надо. Давайте всем городом ляжем спать. Завтра дела разные, побрякушки, ерунда. Спи, прекрасный измученный город”.

Утром подсекакиваешь, как ужаленная. Куда это ты проснулась? Что за мир теперь вокруг? Что на Площади? В новостях пишут — там 4 тысячи человек. Есть прямая трансляция.

На видео люди стоят до самого горизонта, подпирая головами небо. “Пра-а-вду! Пра-а-вду!” — скандируют они. Большая беда пришла в город — какая ещё нужна правда? Впереди — парень, у которого все погибли: сестра, жена, трое маленьких ребятшек. Они Там остались — Там осталась вся его жизнь. И вот он на Площади. А куда ему ещё идти? Что ещё ему делать? Он что-то кричит, требует, борется с чем-то, как будто немножко продолжает ту — прежнюю — жизнь, как будто отстаивает близких, как будто они ещё рядом с ним.

И власти смиряются, идут навстречу, хорошо, мол, давайте общем морги и кладбища. И люди едут обыскивать — пересчитывают умерших, будто мало им. Массовая истерия, сумасшедшие глаза, закушенные губы — всё больше и больше бреда! И вот уже безумцы, как в кошмаре, едут проверять хладокомбинат — а вдруг там есть трупы?..

Дадут большие начальники несчастному парню денег. А что эти деньги? Труха, пыль. Абсолютное ничто всей его сгоревшей жизни. И ты чувствуешь вину перед ним, — хоть совсем ни в чём и не виновата, — вину за то, что вот у человека такое огромное горе, и ты даже боишься представить, что это за горе, боишься думать об этом. Как будто парень взял на себя всю боль живого существа на земле — и ты не смогла ему помочь, ты даже глядеть-то в его сторону не можешь. Будто такое большое горе — это зараза, которая может прилипнуть, может и тебя приглядеть... “Горе обошло стороной” — это выражение звучит как кошунство. Тебя вот обошло, а других нет. Будто откупилась от него кем-то другим, и ты теперь всегда будешь виновата.

Но ведь у тебя дела всякие, помнишь? Глупости, ерунда. Опять надо выходить в город, опять куда-то ехать. И ехать не где-нибудь, а рядом с Площадью. Туда, где толпа ищет трупы. И вот ты едешь и думаешь: “А я ведь Рядом еду...” Будто появилась в городе вторая воронка, и она всё ближе.

В окне маршрутки видишь полицейского в оцеплении. Взрослый, лет тридцати или старше. Встречаешься с ним взглядом, но не отводишь глаза, как сделала бы до пожара, а просто смотришь ему в глаза, а он — в твои. Он очень серьёзный, очень собранный. Он здесь должен стоять, потому что в городе плохо — в городе беда. Потому что горящая толпа лютует на Площади. А ты едешь мимо и смотришь на него. И ты — очень серьёзная, и ты знаешь, что беда, и толпа лютует совсем рядом, и ты тоже должна стоять там, и храни нас всех Бог...

И вот ты приехала, и вокруг те же лица, те же разговоры, и ты говоришь то же, что вчера. Потому что нет больше других слов, нет других мыслей, и ты — совсем не ты, а нервная клетка, которая переносит боль.

В интернете начался сбор денег для пострадавших. И ты даже не прикидываешь в уме, можешь ли себе это позволить. Потому что сейчас нет ни

денег, ни будущего — ничего нет, кроме беды. А в глубине души немного надеешься: может, станет полегче? Может, самую капельку? Ты вот, наконец, что-то сделаешь для них... Нажимаешь на пару кнопок, деньги уходят, а ты не чувствуешь ничего. Будто бросила щепотку песка в страшную чёрную воронку.

В новостях пишут, что чиновники разных стран приносят соболезнования, что по всей стране люди стихийно собираются на панихиды. Весь мир смотрит на твой изувеченный город. А ты сидишь сама с собой, и тебе некуда стихийно собраться, некому приносить соболезнования, нечего делать с бессмысленной тяжестью самой себя.

Вечером в соцсетях тебе вдруг начинают писать незнакомые люди из других городов. Мол, соболезнуем, такая большая беда, так много погибших. Тебе пишут, потому что ты — Кемерово. Такая же, как любой человек из Кемерово. Тебе дали право голоса, спросили у тебя. И ты говоришь — я Кемерово, спасибо, что думаете обо мне, пересчитываете меня, я всё ещё здесь.

Думаешь: “Нет, теперь ничего не будет, как раньше. Больше нет никакого “раньше”. Оно сгорело вместе с детьми в чёрной воронке. “Раньше” вырвали, как кусок живого мяса из тела города. Весь город болеет и плачет по утраченной жизни”.

На следующий день ты решаешь: надо Туда идти. Недалеко от места пожара — мемориал, люди несут игрушки и цветы, стоят молча, склонив головы. И ты хочешь постоять вместе с ними.

Выходишь из дома — решительная, бескомпромиссная — и Туда идешь. А на дорогах снег растаял. Думаешь: “Вот же, весна пришла, когда успела?” Игрушку купить. В лавочке детских товаров у прилавка стоит дед и разговаривает с продавщицей: “... А я их сам делаю”. Надо же, дед шьёт мягкие игрушки. “Дайте посмотреть, — говоришь продавщице, — вот этого медведя”. Она подаёт. Он мягкий, пушистый, с ленточкой. “Хороший медведь”, — говорит дед. “Хороший”, — отзываешься и вспоминаешь, для кого он. Голос срывается, отворачиваешься, будто стыдишься. Продавщица видит и знает теперь, что Туда идёшь. Цветы ещё. В маленьком магазине долго выбираешь, хочешь, чтоб были красивые. Есть вот белые с голубыми полосками, несколько цветков на веточке, похожи на розы и на колокольчики одновременно. Продавщица говорит название — забываешь, не фиксируешь. И уже уверенно, следя за голосом, говоришь: “Дайте четыре”. Просишь завернуть в бумагу, на улице прохладно всё-таки. Они всё знают, эти продавщицы. Город уже два дня расхватывает игрушки и цветы. Хорошо, хоть что-то ещё осталось. Гвоздик, кстати, нет совсем.

И вот ты на улице, метров двадцать осталось до остановки. Солнце заливает дорогу. Ты идёшь к мёртвым детям с подарками. И тут, прямо на дороге, тебя начинает трясти и корезить, колотить от рыданий. Думаешь: “Ну, не здесь же, ну, успокойся...” Сама себя уговариваешь: “Можно ведь не ходить. Не хочешь — не иди”. И сама себе отвечаешь: “Я хочу. Я иду, потому что я хочу”. От этой мысли, от этой уверенности успокаиваешься, не размазываешься больше. Ничего, скоро дойдём.

Заходишь в полупустую маршрутку. Свёрток с цветами мешает, игрушка мешает; кое-как достанешь деньги, чтоб расплатиться. Проходишь в салон, занимаешь пустое место в конце, пристраиваешь свёрток, пристраиваешь себя, пристраиваешь руки на коленях. Кое-как угнездилась, зафиксировалась в пространстве. Тебе кажется, все на тебя смотрят, все про тебя всё знают, как ты сейчас пыталась рыдать на дороге, как ты ничего не смогла для них сделать, как ты едешь сейчас к ним — большая, лелея, рассыпающая мелочь из кошелька. Ничего, ладно, пусть смотрят. Тебе нужно проехать несколько остановок по прямой. Будто стальной канат протянут между Тем местом и тобой. И ты цепляешься за него и ползёшь, обдираешь руки. Руки саднят, и вся ты саднишь. Ничего.

Доезжаешь, выходишь. Впереди дороги перекрыты. Вот то здание, где гибли. Оно выглядит обычно, ничего особенного в нём нет, даже копоти отсюда не видно. Плохое место.

Слева — мемориал. Толпы людей со всех сторон идут к нему. Мемориал не видно за людьми, они двигаются, колышутся одной живой массой. Переходишь дорогу, сдираешь бумагу с цветов. Подходишь сзади к толпе — и толпа раздвигается, расступается, тебя с цветами пропускает. У кого подарки, тот может подойти и оставить — так здесь принято. Волонтер подходит к тебе, помогает пристроить цветы среди других цветов. Твои белые с голубыми полосками сразу же теряются, исчезают среди остальных. Игрушки стоят выше. Находишь местечко, пристраиваешь медведя. Осматриваешь его — мог бы быть и получше. Ну, ладно, зато он мягкий, пушистенький. Что они потом будут делать с игрушками? Отдали бы в детские дома — вот было бы хорошо! Всё, теперь нужно отойти в толпу. И ты делаешь пару шагов назад от мемориала. Вот ты пришла постоять с людьми, вот ты здесь, стой теперь.

Вокруг тебя самые разные люди — всех возрастов, всех обличий. Многие приходят семьями, обнимают детей, прижимают к себе. В городе теперь никогда не выпускают детей из объятий. Старушки бормочут молитвы, пристраивают на мемориале иконки. Каждый принёс то, во что верит. Ты ещё оглядываешь других, осматриваешься, соображаешь, где ты есть, что здесь происходит. Никогда ты не видела такого места, не знаешь, какое оно — это место, что здесь нужно делать.

Здесь совершенно нечего разглядывать, сюда не за этим приходят. Сюда приходят к погибшим — повиниться перед ними, попроситься с ними, побыть рядом с горюющими осиротевшими людьми, постоять целым городом над мёртвыми. И ты начинаешь плакать, спокойно уже, без конвульсий и содроганий, каким-то глубинным безмолвным плачем. Ты первый раз с начала пожара позволила себе заплакать, ты ведь, наверно, за этим сюда и пришла. Это такое специальное место, чтобы плакать. Вокруг тоже многие плачут, очень тихо, выдавая себя только шмыганьем. Здесь так тихо, что слышно, как каждый плачет. Волонтеры ходят и раздают салфетки. Поплачь, ничего.

Стоишь долго, пока не начинает болеть спина. А потом хочешь пить и думаешь: “Ну, ладно, пойду куплю воды”. Проходишь между людьми. Где-то здесь должен быть магазин. Плохо соображаешь, просто идёшь прямо, потому что магазинов же много, какой-нибудь обязательно будет. И вот через пару домов — супермаркет, тыкаешься в двери, заходишь. А в нём очень много полок, и ты теряешься, робеешь. Как здесь найти воду? Как много разных вещей в мире — разве среди них можно что-нибудь найти? И даже хочешь позвонить кому-нибудь и попросить помочь тебе найти воду. Потому что ты совсем ничего не можешь найти сейчас. Но ведь глупо так звонить, да и как тебе смогут помочь? Надо самой. Ничего, ты сейчас пройдёшь вдоль полок, где-нибудь обязательно будет вода. Не торопись, не паникуй. Что-то случилось с головой, она плохо ведёт тебя. Ничего. Это всего лишь магазин. Наконец, попадается полка с водой, берёшь маленькую бутылку. Хочешь открыть сразу, но вспоминаешь, что нельзя, надо сначала заплатить. Обходишь магазин в поисках кассы. Вот касса, всё нормально. Доставай теперь из сумки кошелек. Это, наверно, такой большой стресс, что голова не хочет работать. Ничего. Купим тебе успокоительное. Ты не справляешься сама. Будем пить успокоительное — станет полегче. Сейчас многие его пьют.

Выходишь на улицу, рядом — аптека. Заходишь — малюсенькая, уютная. За прилавком — продавец. “Дайте...” — говоришь. Берёшь микстуру. Любишь микстуры. Это совсем не то же самое, что пить таблетки. Микстура — это ведь целый ритуал. Возможно, организм думает: “Ага, вот в меня вливают лекарственное средство, значит, оно мне точно поможет”. Микстура — это как первобытное волшебство.

Ты опять на улице. Идёшь до остановки и думаешь, что, наверно, теперь ничего никогда не пройдёт, ничего не закончится. Вот была ты у мемориала, плакала, сколько хотела, и тебе совсем не стало легче. Эта беда в тебе никогда не закончится, она только затянется пылью разной ерунды, дел... и вообще. Так и будут нить и саднить чужие смерти в тебе.

Приезжаешь домой, пьёшь свою волшебную микстуру, находишь мультик в интернете. Включаешь, ложишься на диван, укрываешься, прячешься.

Ничего, отдохни, спрячься. По экрану мечутся милые мультяшки. У мальчика родился младший братик, а мальчик ревнует — об этом мультик. У тебя тоже есть младшая сестра, прекрасная живая младшая сестра. И ты ведь тоже тогда, в детстве, ревновала. Ревновала и не понимала, что ревнуешь. Она была такая новая, такая другая, требовала столько внимания и терпения, а ты была ещё маленькой, глупой, тоже требовала внимания и терпения. Хоть совсем и не так много терпения, как сейчас, например. Сейчас необходимо просто ангельское терпение, чтобы принимать тебя. Не потому, что ты какая-то плохая там, неправильная, что-то с тобой не так. А просто потому, что ты уже оформилась, стала такой, какая ты есть. И если тебя не терпеть такой, то лучше уж совсем не связываться. Не связываться, как верёвки не связываются. Люди связываются, как верёвки. Есть канаты, есть тонкие верёвки — бечёвки. В детстве не понимала, почему они так называются. Тогда божьей называли бичами. И ты думала, что бечёвка — это женщина-бич. Причём здесь тогда верёвка? Бечёвка — это обездоленная верёвка, с которой лучше не связываться. Тьфу, не то...

Я просыпаюсь в темноте. Было ещё светло, когда ложилась, а теперь настала ночь, мультик кончился, экран погас. В окне виднеются огоньки фонарей. Наверно, микстура меня так вырубил. Ну, ладно. Я лежу в темноте и чувствую, что это вот — я. Мне столько-то лет, я живу вот такую жизнь. Я дома. Мне спокойно. Мне хорошо смотреть на огоньки в окне, приятно слышать, как возится в своей клетке хомяк. В моей груди рядом с бедой вновь зажётся огонек радости от того, что я есть. Я ведь всегда была счастлива, чувствовала счастье негаснущим светлячком внутри себя. И вот он вернулся, он снова со мной.

Это вовсе не означает, что я теперь всё отброшу, забуду. Я ещё буду пить успокоительное несколько дней, у меня ещё будет срываться голос на каких-то словах, и наверняка я ещё буду плакать. Но я уже буду собой, всё помнящей собой, а не скорбящей частью города. А город этот, его горести, память о его людях впитаются в меня навсегда. Больше ничего не будет так, как раньше.